

Коронация

Р. Г. Назиров

II

3 сентября 1826 года Пушкин гостил в Тригорском. Погода стояла прекрасная, золотое бабье лето, которое он так любил. Пушкин рассказывал дочерям Прасковьи Александровны Осиповой, владельцы Тригорского, о полученных им новостях, был весел и беззаботен. Они долго гуляли, и лишь в одиннадцатом часу вечера сёстры проводили Пушкина по дороге на Михайловское. Он несколько раз оборачивался помахать им веткой зелёных и жёлтых листьев, сорванных в старом парке Тригорского.

Когда он подходил к Михайловскому, навстречу ему бросился дворовый мальчик.

— Барин, к нам офицер приехал! — взволнованно крикнул он Пушкину.

— Какой офицер? — спросил Пушкин, замедляя шаг.

— Казённый, с усами. . . из самого Пскова!

— Что, обыскивает, бумаги ворошит?

— Нет, барин, сидит в гостиной ждёт. Бабка Родивоновна чаю ему подала.

Пушкин отбросил ветку и направился в дом. Он ждал всего и уже уничтожил свои дневники, где было много записей о друзьях и знакомых, оказавшихся замешанными в дело 14 декабря. В доме навстречу ему поднялся бравый ~~служака-унтер~~ жандармский офицер, отдал честь и протянул пакет от псковского губернатора барона фон Адеркаса. Пушкин разорвал пакет и прочёл сперва письмо барона — тот извещал о фельдъегере из Москвы с предписанием срочно препроводить Пушкина в Москву. «Я не отправляю к вам фельдъегеря, который остаётся здесь до прибытия вашего. Прощу вас поспешить приехать сюда и прибыть ко мне». Вторая бумага оказалась торопливо снятой писарской копией с предписанием: «По Высочайшему Государя Императора повелению. . . »

На миг Пушкин ~~неожиданно~~ остановился — так начинались в ту эпоху самые страшные бумаги. Но он усмехнулся на своей слабостью и продолжал читать:

«. . . прошу покорнейше ваше превосходительство находящемуся во вверенной вам губернии чиновнику 10 класса Александру Пушкину позволить отправиться сюда при посылаемом вместе с сим нарочным фельдъегерем. Г. Пушкин может ехать в своём экипаже свободно, не в виде арестанта, но в сопровождении только фельдъегеря; по прибытии же в Москву имеет явиться прямо к дежурному генералу Главного Штаба Его Величество. — Барон Дибич.»

То была подпись начальника Главного Штаба. Значит, просьба Пушкина на имя государя возымела свои последствия. Он знал, что дело 14 декабря закончено и приговор уже

вынесен, но лихорадочно-тревожная атмосфера дома, напуганного приездом губернаторского курьера, действовала на его нервы. Он успел только взять деньги, под бдительным оком напряжённо ожидавшего нарочного накинуть шинель и поцеловать залитую слезами Арину Родионовну. Когда он садился с нарочным в экипаж, вся дворня вышла провожать его, к воротам сбежались крестьяне из Михайловского; бабы выли, старики молились, поминая царя Давида и кротость его. Чёрный люд тоже был наслышан о бунте в столице, высылках и казнях. Арина Родионовна, которую поддерживали под руки две толстые подружки, крестила своего любимца. Кучер ударил по лошадям, раздались плачевные крики прощанья, и в мгновение ока Михайловское осталось позади. Пушкин вытер глаза и с досадой засмеялся над собой.

Ночь была тёмная, но лошади знали дорогу не хуже кучера, а погода стояла сухая и теплая. Пушкин задремал. Просыпаясь, он думал о новом государе, о возможных переменах и о том, что брата его Льва оставили на свободе, хотя он успел замешаться в дело 14 декабря. Это был хороший признак. Успел ли Жуковский замолвить словечко? Между тем, наступало утро.

Во Пскове он напился чаю, повидался с генерал-губернатором. Барон фон Адеркас был с ним любезен, он предполагал, что письмо Дибича означает вызов к самому государю. Пушкин даже узнал от Адеркаса потрясающую новость: Аракчеев будет скоро сменён, государь им недоволен, все в столицах только и говорят об этом. Давно пора!

Пушкин успел даже написать короткое французское письмецо добрейшей Осиповой: «Я предполагаю, мадам, что мой неожиданный отъезд с фельдъегерем поразил вас так же, как и меня. Вот факт: у нас ничего не делается без фельдъегеря, мне и дали одного для пущей безопасности. Судя по любезнейшему письму барона Дибича, только от меня зависит вполне гордиться этим. Я еду прямо в Москву, где рассчитываю быть 8 числа текущего месяца; лишь только буду свободен, со всей поспешностью вернусь в Тригорское, к которому отныне сердце моё привязано навсегда.

Псков, 4 сент.»

Какому-то мужику из Тригорского, случившемуся в Пскове, Пушкин дал денег и велел заехать в Михайловское — успокоить Арину Родионовну. Унтера Жандарма сменил огромный фельдъегерь, и они во весь опор помчались в Москву. На станциях Пушкин не встретил никого знакомого и прислушивался к толкам проезжающих: все разговоры были о коронационных празднествах.

Наконец, показалась Москва. На заставе, увидя бумаги фельдъегеря, тотчас закричали: «Подвысь!» — и инвалид кинулся бегом поднимать шлагбаум. Пушкин высунулся из экипажа. Моголюдство Москвы, родные улицы и дома заставили сильнее забиться его сердце; флаги и музыка еще хранили праздничный дух коронации. На Тверской они обогнали дипломатическую карету с незнакомым гербом и лакеями в невиданных ливреях — то был какой-то иностранный министр или посланник. Пушкина привезли прямо в Кремль. Дежур-

ный генерал Главного штаба немедленно послал сообщить государю о прибытии Пушкина и учтиво предложил стул. Они не успели поговорить — пришли за Пушкиным.

— Как! — воскликнул он. — я должен хотя бы побриться!

— Соболаговолите поспешить, такова воля его величества, — ответил дежурный генерал. — В конце концов, это не парадная аудиенция.

Покрытый пылью, усталый и небритый, Пушкин попал из Михайловского прямо в Кремль, где находилась резиденция императора Николая Павловича. Паж провёл его в кабинет императора. Пушкин оказался перед лицом царя, и больше никого при этом не было.

Он увидел стройного и подтянутого белокурого гиганта в кавалергардском мундире и сияющих ботфортах; точно так же сияла благосклонная улыбка на лице нового императора. Николай Павлович стоял, заложив большой палец за пуговицу мундира. Трудно было подобрать столь не похожих друг на друга людей, как небольшой нервный Пушкин со своими темнорусыми кудрями и этот неподвижный нордический красавец, похожий на статую.

— Здравствуй, Пушкин! — прозвучали слова в ответ на его поклон и приветствие. — До-волен для ты своим возвращением?

Так начался исторический разговор в Кремле, сыгравший такую колоссальную роль в судьбе великого поэта.

На милостивые слова императора Пушкин ответил, «как следовало», изъявлениями благодарности и верноподданических чувств. Он был возбуждён и взволнован, так как ожидал чего угодно — сухости, высокомерных и презрительных увещаний, грозных криков, но только не этой милостивой улыбки. Николай Павлович не был глуп, как это порой внушают нам пристрастные историки; напротив, он был умён, но небольшим умом актёра. Ум его был пригоден для того, чтобы обманывать, но не для того, чтобы создавать; подобные умы предназначены не для деятельности, а для сохранения status-quo ante и пышного декораума больших режимов. Используя свою репутацию грубого солдафона, Николай Павлович разыгрывал откровенного и прямого рубаку, предпочитающего резать правду-матку, а не вилять и лицемерить. Это был просто новый вид лицемерия — и это ему удавалось.

— Я знаю, Пушкин, — сказал царь с обезоруживающей откровенностью, — что ты меня ненавидишь, поскольку я раздавил партию либералистов, ж которой ты был глашатаем (porte-parole). Поверь мне, не меньше твоего люблю Россию. Благоденствие нации — долг монархов перед Господом.

— Sire, — сказал Пушкин (разговор шёл на французском языке), — ~~ваши~~ слова вашего величества заставляют меня трепетать от радости. Но позволено ли мне будет сказать. . .

— Говори прямо, я затем и позвал тебя.

— Благоденствие русского народа в наш просвещённый век не может быть отделяемо от его гражданских учреждений, и если бы покойный государь исполнил свои обещания, в чём воспрепятствовали ему, без сомнения, люди своекорыстные и не пекущиеся. . .

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — прервал его император, — я пять месяцев читал это же самое в показаниях твоих приятелей. Знай же, я желаю свободы русскому наро-

ду, но ему нужно сперва укрепиться. В этом деле нужна сугубая осторожность: народ, не готовый к принятию свободы, может погибнуть в её безумных оргиях. Я поручу Кочубею и Сперанскому приготовить прожект выхода землепашцев из крепостного состояния. Нужно подождать. . .

— Sire! — восторженно воскликнул Пушкин. — Имя вашего величества будут благословлять миллионы русских!

— Не в том моя цель, — сказал Николай, — я желаю лишь счастья моих подданных. Но прежде свободы России нужно правильное направление умов. Сначала надо воспитать все сословия для свободы, а уж затем ввести в действие великие ордонансы. Согласен ли ты со мною?

— Государь, вы говорите, как философ! Ваши слова переносят меня с ледовитого моря на мыс Доброй Надежды.

— Что сделал бы ты, Пушкина, если бы 14 декабря был в Петербурге? — неожиданно спросил Николай.

— Стал бы в ряды мятежников, — ответил Пушкин, покраснев от волнения. — Все друзья мои были в заговоре, и я не мог бы не участвовать в нём. Хотя я и не люблю бунтов и революций, честь и дружба увлекли бы меня со всеми моими на роковую площадь. Одно лишь отсутствие спасло меня, за что я благодарю бога! Я уже собирался в Петербург, но дурные предзнаменования, коим я имею слабость верить, заставили меня отложить поездку, — а я собирался остановиться у Рылеева и попал бы к нему вечером 13-го декабря.

— Счастлив твой бог! — сочувственно заметил Николай. — Радуюсь, что случайность избавила тебя от большой беды. Но не довольно ли ты дурачился?

— Молодость моя была рассеянной, однако годы одиноких размышлений заставили сердце созреть, ваше величество. Я хочу большого труда во славу родной словесности, мною написано немало такого, что может способствовать её обновлению, но замыслы ещё более обширны.

— Итак, твой образ мыслей переменился. . . Даёшь ли ты слово думать и действовать иначе, чем прежде, если я пущу тебя на волю?

Пушкин молчал в нерешительности.

— Я верю твоей чести, мы оба с тобой дворяне, Пушкин. Дай же слово.

— Государь, слава о вашем рыцарском поведении в злополучный день 14 декабря заставила умолкнуть недоверие и страхи, — быстро заговорил Пушкин. — Обширные замыслы вашего величества в отношении сословия землепашцев рождают во мне величайшее надежды и желание им способствовать. Я не могу отбросить мечтаний молодости и сразу искоренить из своего сердца вольные страсти прошлого, но я хотел бы по мере сил участвовать в преобразовании общественного состояния своим пером и не думаю сопротивляться государственной необходимости.

— Отвечай прямо, — торжественно сказал Николай. — Обещай мне сделаться другим, и вот тебе моя рука.

Наступило молчание, страшное, как секунда последнего огонька на фитиле пороховой бочке, затем Пушкин протянул руку императору и сказал пересохшим от волнения голосом:

— Обещаю, государь. Даю вашему величеству слово сделается другим.

Они пожали руки друг другу. Николай был великолепен в эту минуту, он праздновал один из величайших своих актёрских триумфов.

— Надеюсь, ты будешь теперь рассудителен, и больше мы ссориться не будем. Ты сказал, что много писал в последнее время?

— Да, государь.

— Однако в печати под твоим именем появилось немного. . .

Пушкин ответил жалобами на цензуру. Николай внимательно и сочувственно выслушал его. Затем он положил руку на плечо Пушкина, что ему было очень легко сделать ввиду разницы их роста:

— Ты будешь присылать ко мне всё, что сочинишь: отныне я сам буду твоим цензором. Освобождаю тебя от цензуры и её глупостей. Надеюсь, ты доверяешь моему вкусу? — улыбнулся он.

— Ваше величество! — с энтузиазмом, со счастливым смехом воскликнул Пушкин, глядя на царя уже совсем дружелюбным взглядом. — Конечно, суд вашего величества для меня вне сомнений! Благодарю, сто крат благодарю за это милость!

— Вот мы и договорились. Пушкин, я рад твоей прямоте, со мною так и нужно разговаривать. Отныне ты свободен. Посредником в наших отношениях будет Генерал Бенкендорф, он принимает в тебе такое же участие, как и я. Теперь ступай, отдаю тебя отдыху и московскому хлебосольству. У меня нынче весело на Москве, веселись и ты, да не забывай своего слова.

Пушкин глубоко склонился перед императором. Аудиенция была окончена.

Когда он вышел из кабинета, несколько малознакомых придворных подошли к нему поздороваться, выражая радость по поводу его возвращения. Остолбенело-счастливый вид поэта говорил сам за себя. Мгновенно разнеслась весть, что Пушкин не только возвращён, но и **полностью освобождён от цензуры** — первый и единственный из всех писателей России. Такой милости ещё не удавалось никому!

Николь Николай Павлович в тот день сказал своим приближённым, что нынче долго говорил с умнейшим человеком в России.

— Кого имеет в виду ваше величество?

— Пушкина.

Эти слова царя были тотчас занесены в анналы официальной истории, и уже не столь внимательно отнеслись окружающие к прибавлению, тут же сделанному Николаем:

— И всё же с поэтами нельзя быть милостивым.

Он во-время остановился и не досказал эту мысль, ибо она была слишком правильной и слишком глубокой. Да, он приручил Пушкина — но надолго ли? Можно ли довериться честному слову этого большого ребёнка?

А Пушкин из Кремля поехал прямо на Старую Басманная и упал в тёплые объятия своего дяди Василия Львовича, который жил там в доме Кетчера. В кругу родных Пушкин провёл свой первый свободный вечер 8 сентября 1826 года.

III

Коронация Николая Павловича сопровождалась, как и следовало, длинной чередой празднеств, балов, приемов и спектаклей. Вся аристократия России съехалась на коронацию. Верховным маршалом коронационной комиссии, как и при двух предыдущих коронациях (Павла I и Александра I), был князь Юсупов, владелец 40 тысяч душ, лично знавший Фридриха Великого, Вольтера и Дидро. Бомарше посвятил ему стихи. В тайной картинной галерее князя, наполненной портретами обнажённых красавиц (свидетельствами его успехов), когда-то находилась, по слухам, картина «Аполлон и Венера», изображавшая его самого вместе с Екатериной II, весьма к нему благоволившей; по восшествии на престол Павел отобрал у князя эту картину. — Всплывали и другие пикантные истории русского двора. На одном из московских балов во время коронации появилась молодая Салтыкова, только что пожалованная во фрейлины. Всеобщее внимание привлёк её медальон, в которой был вделан редкий и знаменитый по истории искусства «камей», исчезнувший из придворной коллекции в 40-х годах прошлого столетия. Кругом зашептались, что этот «камей» достался фрейлине от её покойного дяди Сергея Салтыкова, первого фаворита Екатерины II, ещё в бытность её великой княгиней. Вспоминали старые слухи о том, что Пётр III не мог иметь детей и что таким образом Павел I должен быть признан сыном Сергея Салтыкова.

Из других дам и девиц, украшавших собой коронационные празднества в Москве, выделялись семнадцатилетняя красавица Зинаида Нарышкина, невеста молодого князя Бориса Юсупова, фрейлины императрицы Россети, Эйлер, Радзивилл, княжна. . .

[Окончание текста отсутствует]